



## Ю. И. АЙХЕНВАЛЬД

### Гумилев

Последний из конквистадоров, поэт-ратник, поэт-латник с душой викинга, снедаемый тоской по чужбине, «чужих небес любовник беспокойный», Гумилев — искатель и обретатель экзотики. Он очень своеобразен, необычен, богат «неожиданностями»; «сады моей души всегда узорны» — говорит он о своей действительно узорной и живописной душе. У него — только дорогое, ценное, редкое: стихи — драгоценности, стихи — жемчуга. Переводчик Теофиля Готье, изысканный и искусный, он следует завету своего французского собрата — «чеканить, гнуть, бороться», и при этом, тоже как Готье, не устаивает бороться с легким, «не мнет покорной и мягкой глины ком», а одерживает блестящие победы исключительно лишь над благородными металлами и над мрамором Пароса или Каррары. Он в самом деле — акмеист; ему желанны и доступны одни только вершины. Именно впечатление вершинности и предельности производят его недрогнувшие строки. Мужественной и великолепной поступью движется его стих, то лапидарный, то грациозный, иногда преднамеренно тяжелый (как в «Шатре»), иногда несущий на своих волнах утонченную образность:

Ветер милый и вольный,  
Прилетевший с луны,  
Хлещет дерзко и больно  
По щекам тишины.

И, вступая на кручи,  
Молодая заря  
Кормит жадные тучи  
Ячменем янтаря.

Или:

Сонно перелистывает лето  
Синие страницы ясных дней.

Маятник старательный и грубый,  
 Времени непризнанный жених,  
 Заговорщицам-секундам рубит  
 Головы хорошенькие их.

Презирая дешёвое, блистательный владелец сокровищ, он обладает, но не чванится высокой техникой, и слова его для разнообразных ритмов четко подобраны одно к другому, как перлы для ожерелья. Взыскательный мастер своего искусства, он однако мастерству и форме не придает самодавяющего значения и не хочет насиловать поэзию; он «помнит древнюю молитву мастеров»:

Храни нас, Господи, от тех учеников,  
 Которые хотят, чтоб наш убогий гений  
 Кощунственно искал все новых откровений.

На ранних стихах его легко заметить влияние Брюсова, но свойственные последнему провалы в безвкусию уверенно обошел талантливый и тактичный ученик. И лишь в виде исключения можно уловить на его зрелых страницах следы искусственности, неоправданность рифмы и ее насилие над смыслом.

А общий смысл его поэзии ясен и отчетлив. Романтик, борющийся за «голубую лилию», Гумилев не привержен к дому с «голубыми ставнями, с креслами давними и круглым чайным столом». Его не изнежила, не усыпила Капуя милой домашности; зоркие взоры его устремлены поверх обыденных мелочей. Любовник дали, он, как блудный сын Библии и своей поэмы, томится под родной кровлей и покидает ее ради «Музы дальних странствий». Он принадлежит к династии Колумба, и вольной душе его родственны капитаны каравелл, летучие голландцы, Синдбады-Мореходы и все, «кто дерзает, кто хочет, кто ищет, кому опостытели страны отцов». Как и все эти избалованные притавившихся земель, подарившие миру неведомые пространства, он тоже «солью моря грудь пропитывал», и все «моря целовали его корабли». Манят его пути и путешествия человечества, красивые и опасные приключения, какие только можно встретить в истории или испытать в нашей современности; душою и телом проникает он в причудливые окраины бытия. В противоположность нам, домоседам, он не зря, не бесследно, прочел в своем детстве волнующие книги о плеяде великих непосед, о тех, кого он называет «паладины Зеленого Храма, под пасмурным морем следившие румб». Ему присуще непосредственное чувство того, что «как будто не все пересчитаны звезды, как будто наш мир не открыт до конца». Так это и есть, потому что звезды не поддаются

ся учету и мир не имеет конца. Вот Гумилев и продолжает открытия, завоевания и скитания своих духовных предков. Неутолимо его любопытство, велика его смелость. Не испуганный расстояниями, он покоряет их себе — как мечтою, так и действительностью. Гумилев — поэт географии. Он именно опозэтизировал и осуществил географию, ее участник, ее любящий и ответственный очевидец. Вселенную воспринимает он как живую карту, где «пути земные сетью жил, розой вен». Творец «расположил», — и по этим венам «струится и поет радостно бушующая кровь природы». Кто читает автора «Чужого неба», тот вслед ему посещает не только юг и север Европы, но и Китай, Индокитай, и, особенно, пустыню Сахары, «колдовскую страну» Абиссинии; тот видит «черных русалок на волнах Черного моря», созерцает Египет в божественный лунный час его, когда «солнцем день человеческий выпит», — и вообще для Гумилева расстилает знойные ткани своих песков его любимица Африка, «на дереве древнем Евразии исполинской висящая грушей». Свою гордость и грезу он полагает в том, чтобы Африка в благодарность за его песни о ней увековечила его имя и дала последний приют его телу:

Дай за это дорогу мне торную  
Там, где нету пути человеку,  
Дай назвать моим именем черную  
До сих пор неоткрытую реку;

И последнюю милость, с которою  
Отойду я в селенья святые, —  
Дай скончаться под той сикоморою,  
Где с Христом отдыхала Мария.

Африка дарит его стихотворениям пышную флору и фауну — алоэ, кактусы, в рост человеческой травы; и здесь — «пантера суровых безлюдий», гиены, тигры, ягуары, носороги, слоны, обезьяны, рыжие львы и жирафы на озере Чад. Живою водой художества певец «Шатра» и «Колчана» пробудил и этнографию; он ее тоже приобщил красоте, и мы читаем у него:

Есть музей этнографии в городе этом,  
Над широкой, как Нил, многоводной Невой.  
В час, когда я устану быть только поэтом,  
Ничего не найду я желанней его.

Я хожу туда трогать дикарские вещи,  
Что когда-то я сам издалека привез,  
Слышать запах их странный, родной и зловещий,  
Запах ладана, шерсти звериной и роз.

«В час, когда я устану быть только поэтом...» Но на самом деле быть поэтом он никогда не устает, и вся эта география и этнография не глушат в нем его художественной сердцевины, как не заглушает ее и то, что он любит далекое не только в пространстве, но и во времени, помнит историю, вождей прежнего человечества, друидов и магов, эпос Ассириававилонии, и события Исландии в XIX веке, — и не увядают для его воображения цветы отдаленнейших мифологий.

Свои дальние путешествия он совершает не поверхностно, он не скользит по землям, как дилетант и турист. Нет, Гумилев оправдывает себя особой философией движения, «божественного движения», которое одно преобразует косные твари мироздания и всему сообщает живую жизнь. Кроме того, у него есть чувство космичности: он не довольствуется внешней природой, той, «которой дух не признает»; он *прозревает* гораздо глубже ее пейзажа, ее наружных примет, и когда видит луг, «где сладкий запах меда смешался с запахом болот», когда слышит «ветра дикую заплачку, как отдаленный вой волков», когда видит над сосной курчавой скачку каких-то пегих облаков», то, возмущенный этим показным убожеством и преднамеренной бесцветностью, *глубокомысленно* восклицает:

Я вижу тени и обличья,  
Я вижу, гневом обуян,  
Лишь скудное многообразие  
Творцом просыпанных семян.

Земля, к чему шутить со мною:  
Одежды нищенские сбрось  
И стань, как ты и есть, звездю,  
Огнем пронизанной насквозь!

Наконец, по земле-звезде странствует наш путник-поэт непременно с оружием в руках; его скитания-завоевания, и созвездия чужих небес Южный Крест, «кресты, топоры, загорающиеся в небесных садах», нередко освещают его бранные дела. Вообще, Гумилев — поэт подвига, художник храбрости, певец бесстрашия. Мужчина по преимуществу, он чувствует себя на войне, как в родной стихии; он искренне идеализирует ее, и в его устах, устах реального воина (на идеализацию имеет право только реалист), не фразой звучит утверждение: «воистину светло и свято дело величавое войны». В такой воинственности своей он сам усматривает преграду между собой и жизнью современной, с которой поэтому он только «вежлив»:

Все, что смешит ее, надменную, —  
Моя единая отрада.

Победа, слава, подвиг — бледные  
Слова, затерянные ныне,  
Гремят в душе, как громы медные,  
Как голос Господа в пустыне.

Всегда ненужно и непрошено  
В мой дом спокойствие входило;  
Я клялся быть стрелою, брошенной  
Рукою Немврода иль Ахилла.

От апостола Петра он требует, чтобы тот ему отворил двери в рай — за то, между прочим, что на земле он был отважен:

Георгий пусть поведает о том,  
Как в дни войны сражался я с врагом,

и как из биографии Гумилева, так и из его стихотворения мы знаем, что ему

...Святой Георгий тронул дважды  
Пулею нетронутую грудь.

И лишь одна смерть казалась ему достойной — под пулями сражения, «ясная и простая» смерть воина, его возвращение к небесному «Начальнику в ярком доспехе». Если умираешь на поле битвы, то

Здесь товарищ над павшим тужит  
И целует его в уста.  
Здесь священник в рясе дырявой  
Умиленно поет псалом,  
Здесь играют марш величавый  
Над едва заметным холмом.

В недрах своей «прапамяти» и памяти хранит Гумилев правдоподобные воспоминания о том, что в прежних своих воплощениях на земле был он «простой индеец, задремавший в священный вечер у ручья», или что уже был он, однажды, убит в горячем бою, что предок его был «татарин косоглазый», «свирепый гунн». На своем веку, на своих веках он много сражался, «древних ратей воин отсталый». Таким образом, в его теперешней воинственности можно усмотреть некоторый атавизм — восторженно принятое наследие протекших времен. Только воинственность эта не имеет грубого характера и не отталкивает от себя. Грубое вообще для него не писано; он — поэт высокой культурности, он внутренне знатен, этот художник-дворянин. Если понимать под дворянством некоторую категорию, некоторую уже достигнутую и осуществленную ступень человеческого благородства, ту, ко-

торая обязывает (*noblesse oblige*)\*, то в этой обязывающей привилегированности меньше всего откажешь именно Гумилеву. Принадлежит ему вся красота консерватизма. И когда читаешь у него слова «благородное сердце твое — словно герб отошедших времен», то в связи с другими проявлениями его творчества это наводит на мысль, что он — поэт геральдизма. «Эти руки, эти пальцы не знали плуга, были слишком тонки», — говорит о себе нам певец-аристократ. Но аристократизмом предполагает дорогую простоту, своими глубокими корнями уходит как раз в нее, и это мы тоже видим у Гумилева, у того, кто рассказал нам про заблудившуюся юную принцессу, которая почувствовала себя дома только в избушке рабочего. При этом необходимо отметить, что подняться на высоту простоты нашему писателю было нелегко, так как изысканную душу его не однажды задевала опасность снобизма. Ведь он сознается в такой мечте, этот баловень духовного изящества:

Когда я кончу наконец  
Игру в *cache-cache*\*\* со смертью хмурой,  
То сделает меня Творец  
Персидскую миниатюрой.

И небо, точно бирюза,  
И принц, поднявший еле-еле  
Миндалевидные глаза  
На взлет девических качелей.

.....

И вот когда я утолю  
Без упоенья, без страданья  
Старинную мечту мою —  
Будить повсюду обожанье.

Наш утонченный воин, наш холеный боец, характеризует себя так: «Я не герой трагический, я ироничнее и суше». И правда: у него если и не суховатость, то большая сдержанность, его не скоро растрогаешь, он очень владеет собой и своего лиризма не будет расточать понапрасну. Да и не много у него этого лиризма, и студеной свежесть несетя с полей его поэзии. Вот что он говорит о своих читателях, т. е. о самом себе:

Я не оскорбляю их неврастением,  
Не унижаю душевной теплотой,  
Не надоедаю многозначительными намеками  
На содержимое выеденного яйца,

\* происхождение обязывает (*фр.*).

\*\* прятки (*фр.*).

Но, когда вокруг свищут пули,  
 Когда волны ломают борта,  
 Я учу их, как не бояться,  
 Не бояться и делать, что надо.  
 И когда женщина с прекрасным лицом,  
 Единственно дорогим во вселенной,  
 Скажет: «Я не люблю вас», —  
 Я учу их, как улыбнуться,  
 И уйти, и не возвращаться больше.  
 А когда придет их последний час,  
 Ровный, красный туман застелет взоры,  
 Я научу их сразу припомнить  
 Всю жестокую, милую жизнь,  
 Всю родную, странную землю  
 И, представ перед ликом Бога  
 С простыми и мудрыми словами,  
 Ждать спокойно его суда.

Он — романтик, но душа его (как это, впрочем, и подобает романтику) «обожжена луной», а не солнцем, не опалена страстью, не взволнована пафосом, и потому, со своей лунной любовью, он не только будет совершенно презирать чувствительность, но и самому чувству согласится платить совсем не щедрые дани. О, нет — он далеко не сентиментален, и не сердце, а это он повелевает своим сердцем, сосредоточенный и властный! Тем дороже, конечно, ценить минуты его — тоже слегка иронической — умиленности, ту, например, которая вызвана... телефонным звонком:

Неожиданный и смелый  
 Женский голос в телефоне...  
 Сколько сладостных гармоний  
 В этом голосе без тела!

Счастье, шаг твой благосклонный  
 Не всегда проходит мимо:  
 Звонче лютни серафима  
 Ты и в трубке телефонной!

Или вот другая минута лирической настроенности, вылившаяся в певучую форму таких двустуший:

Вот я один в вечерний тихий час  
 Я буду думать лишь о вас, о вас.

Возьмусь за книгу, но прочту: «она»,  
 И вновь душа пьяна и смятена.

Я брошусь на скрипучую кровать,  
 Подушка жжет... Нет, мне не спать, а ждать.

И, крадучись, я подойду к окну,  
На дымный луг взгляну и на луну.

Вон там, у клумб, вы мне сказали: «да»,  
О, это «да» со мною навсегда.

.....

И вдруг сознание бросит мне в ответ,  
Что вас, покорной, не было и нет.

Что ваше «да», ваш трепет, у сосны  
Ваш поцелуй — лишь бред весны и сны.

Прав Гумилев: мало в его стихах «душевной теплоты». Но несправедливо было бы назвать его надменным и слишком художественна его организация для того, чтобы его воинственность могла переходить в бретерство. Однако, верно то, что у него повышено сознание собственного достоинства и собственной личности (характерна в этом отношении та формальная деталь, что он нередко употребляет притяжательное и притязательное местоимение *мой* там, где правильнее и лучше было бы *свой*).

Итак, он вовремя, он счастливо уклонился от позы и презрительности, и элегантности: все это преодолено благородством его героической натуры. И с высоты своих великолепий он не брезгает спускаться в самые простые и скромные уголки существования, и он напишет сочувственные стихотворения о старой деве и о почтовом чиновнике, и об очарованиях русского города, и о мечтателе-оборванце. И что еще важнее, этот воин, бросающий вызовы миру, сердцем полюбил однако «среди многих знаменитых мастеров» одного лишь Фра Беато Анджелико и по поводу его картины говорит:

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,  
А жизнь людей мгновенна и убога,  
Но все в себе вмещает человек,  
Который любит мир и верит в Бога.

Именно потому, что он — аристократ и гордый носитель самоуважения, он умеет и уважать... У него — почтительность к родной старине, к этому кресту, который над церковью вознесен «символ власти ясной, отеческой» — и над церковью «гудит малиновый звон речью мудрой, человеческой». У него — чувство воина к своему вождю, — и этот мотив настойчиво звучит в его поэзии. Мы слышим его в драматической поэме «Гондла» (напечатанной еще в январе 1917 года):

Наступили тяжелые годы,  
Как утратили мы короля

И за призраком легкой свободы  
Погналась неразумно земля.

Мы то же самое слышим в стихотворении «Воин Агамемнона»:

Смутную душу мою тяготит  
Странный и страшный вопрос:  
Можно ли жить, если умер Атрид,  
Умер на ложе из роз?

Все, что нам снилось всегда и везде,  
Наше желанье и страх,  
Все отражалось, как в чистой воде,  
В этих спокойных очах.

В мышцах жила несказанная мощь,  
Нега — в изгибе колен,  
Был он прекрасен, как облако, — вождь,  
Золотоносных Микен.

Что я? Обломок старинных обид,  
Дротик, упавший в траву.  
Умер водитель народов Атрид,  
Я же, ничтожный, живу.

Манит прозрачность глубоких озер,  
Смотрит с укором заря.  
Тягостен, тягостен этот позор —  
Жить потерявши царя.

Или вот из стихотворения «Императору» (времен Рима):

Призрак какой-то неведомой силы  
Ты ль указавший законы судьбе,  
Ты ль, император, во мраке могилы  
Хочешь, чтоб я говорил о тебе?

Горе мне! Я не трибун, не сенатор,  
Я только бедный бродячий певец,  
И для чего, для чего, император,  
Ты на меня возлагаешь венец?

.....  
Старый хитон мой изодран и черен,  
Очи не зорки и голос мой слаб,  
Но ты сказал, и я буду покорен,  
О император, я верный твой раб!

И герой «Галлы» сообщает о себе:

.....  
Я бельгийский ему подарил пистолет  
И портрет моего государя.

И отсюда в нашей характеристике его творчества легко сделать переход к указанию на то, что Гумилев не миновал обычной участи блудного сына, что из-под чужого неба он вернулся под свое, что тоска по чужбине встретилась в его душе с тоской по родине. Экзотика уступила место патриотизму. Изведавший дали поэт чувствует:

Золотое сердце России  
 Мерно бьется в груди моей.

И Россия духа глядит на него с иконы Андрея Рублева:

Я твердо, я так сладко знаю,  
 С искусством иноков знаком,  
 Что лик жены подобен раю,  
 Обетованному Творцом.

.....

Все это кистью достохвальной  
 Андрей Рублев мне начертал,  
 И этой жизни труд печальный  
 Благословеньем Божьим стал.

Он болезненно отзывается на русские боли, и в годину наших военных невзгод и поражений, обращаясь к Швеции, называя ее сестрой России, с горечью вопрошает:

Для нас священная навеки  
 Страна, ты помнишь ли, скажи,  
 Тот день, как из Варягов в Греки  
 Пошли суровые мужи?

Ответь, ужели так и надо,  
 Чтоб был, свидетель злых обид,  
 У золотых ворот Царьграда  
 Забыт Олегов медный щит?

Чтобы в томительные бреды  
 Опять поникла, как вчера,  
 Для славы, силы и победы  
 Тобой подъятая сестра?

И неужель твой ветер свежий  
 Вотще нам в уши сладко выл,  
 К Руси славянской, печенежьей  
 Вотще твой Рюрик приходил?

Он вспоминает, как в старину русский Вольга боролся со Зме-ем, как

. . . . . Вольга  
 Выходил и поглядывал хмуро,  
 Надевал тетиву на рога  
 Беловежского старого тура.

И печального героя предреволюционной поры, мужика у престола, не трудно узнать в стихотворении «Мужик»; приведем из него следующие строфы:

В чащах, в болотах огромных,  
 У оловянной реки,  
 В срубках мохнатых и темных  
 Странные есть мужики.

Выйдет такой в бездорожье,  
 Где разбежался ковыль,  
 Слушает крики Стрибожьи,  
 Чую старинную был.

. . . . .  
 Вот уже он и с котомкой,  
 Путь оглашая лесной  
 Песней протяжной, негромкой,  
 Но озорной, озорной.

Путь этот — светы и мраки,  
 Посвист разбойный в полях,  
 Ссоры, кровавые драки  
 В страшных, как сны, кабаках.

В гордую нашу столицу  
 Входит он — Боже, спаси! —  
 Обворожает царицу  
 Необозримой Руси

Взглядом, улыбкою детской,  
 Речью такой озорной, —  
 И на груди молодецкой  
 Крест просиял золотой.

Как не погнулись — о горе! —  
 Как не покинули мест  
 Крест на Казанском соборе  
 И на Исакии крест?

Над потрясенной столицей  
 Выстрелы, крики, набат;  
 Город ощерился львицей,  
 Обороняющей львят.

Духовное возвращение поэта на родину не есть еще завершение поэзии Гумилева, потому что она вообще не завершена, пото-

му что история сделала из нее только отрывок. Рост *его* творчества не кончился. Оно становилось все углубленнее, в нее проникали философские моменты, оно начало было развиваться под знаком той большой мысли, что поэтам, властелинам ритмов, доверены судьбы вселенского движения и что они

Слагают окрыленные стихи  
Расковывая косный сон стихий.

Да, он верил, что стихи — враги ленивой инерции, нарушители стихийного сна, что на крыльях своих несут они в мир энергию животворящих мыслей. Преодоление косности, споспешествование мировому движению, подвижность, как подвиг: это — вообще основные линии *его* одновременно подвижной и величавой поэзии.

Но красивая страница, которую он вписал в историю нашей литературы, получает еще новое излучение смысла как от *его* общей веры в божественность живого слова, идущего за пределы земного естества, так, в частности, и от идеи *его* «Восьмистишья»

Ни шороха полночных далей,  
Ни песен, что певала мать,  
Мы никогда не понимали  
Того, что стоило понять.  
И, символ горнего величья,  
Как некий благостный завет, —  
Высокое косноязычье  
Тебе даруется, поэт.

Поэт — косноязычный Моисей. Он вещает великое, и это чувствуется в самой неясности *его* глаголов. Не плоской понятностью понятна и пленительна поэзия, а той бездонной глубиной, теми перспективами бесконечных смыслов, которые она раскрывает в таинственной музыке своих речей. Разгадать ее не дано самому художнику, и он смущенно и радостно воспринимает залог избранничества — собственное косноязычие: как бы отчетливо он ни произносил, *его* слова не соответствуют образам и волнениям, переполняющим *его* душу, — *его* слова только приближительны и как ни явственен смысл стихотворений Гумилева, сам автор чуял за ним нечто другое, большее; и, может быть, свое «высокое косноязычие» мечтал он претворить в еще более высокое красноречье мудрых откровений. Но в пределах земного слуха, и косноязычье, и красноречье одинаково завершает немотою безразличная смерть.

В поэзии Гумилева тема смерти имеет видную долю. Он знает весь ужас ее, но знает и того старого конквистадора, который,

когда пришла к нему смерть, предложил ей «поиграть в изломанные кости». Он бесстрастно смотрит ей прямо в глаза, он сохраняет перед ней свое достоинство, и не столько она зовет его к себе, сколько он — ее. Себе предоставляет он право выбора:

Не избежнешь ты доли кровавой  
 Что земным предназначила твердь.  
 Но молчи: несравненное право —  
 Самому выбирать свою смерть.

И Гумилев выбрал — и через это смертью поправил смерть. Он пророчит себе:

И умру я не на постели  
 При нотариусе и враче...

И среди жутких видений, которые навеивает на него присущий ему элемент баллады, грезится поэту и такая картина:

В красной рубашке, с лицом, как вымя,  
 Голову срезал палач и мне,  
 Она лежала вместе с другими  
 Здесь, в ящике скользком, на самом дне.

Или поразительное стихотворение «Рабочий»:

Он стоит пред раскаленным горном,  
 Невысокий старый человек.  
 Взгляд спокойный кажется покорным  
 От миганья красноватых век.

Все товарищи его заснули,  
 Только он один еще не спит:  
 Все он занят отливаньем пули,  
 Что меня с землею разлучит.

Кончил, и глаза повеселели.  
 Возвращается. Блестит луна.  
 Дома ждет его в большой постели  
 Сонная и теплая жена.

Пуля, им отлитая, просвищет  
 Над седою, вспененной Двиной,  
 Пуля, им отлитая, отыщет  
 Грудь мою, она пришла за мной.

Упаду, смертельно затоскую,  
 Прошлое увижу наяву,  
 Кровь ключом захлещет на сухую,  
 Пыльную и мягкую траву.

И Господь воздаст мне полной мерой  
За недолгий мой и горький век.  
Это сделал в блузе светло-серой  
Невысокий старый человек.

Так наш русский рыцарь гадал о своей судьбе и угадал свою судьбу. Трагический отсвет на его поэзию бросает его жизнь и его смерть.

И Господь воздаст мне полной мерой  
За недолгий мой и горький век...

